

© 1997 г., ЭО, № 3

Я.В. Чеснов

Н.Н. ЧЕБОКСАРОВ В НАУКЕ И В ЖИЗНИ

Не помню, от кого я услышал впервые имя Николая Николаевича в форме «Коля Чебоксаров». Может быть, его произнесла мама его Евгения Николаевна, может быть, я услышал его от Ирины Абрамовны, жены Николая Николаевича. Это случалось раза два-три, не больше. И тем не менее интимно-домашнее имя «Коля Чебоксаров» звучит значимо и определяюще – как предназначение судьбы, как предначертание способному мальчику и юноше развить свои способности и придать своему имени и фамилии общественно значимый смысл – стать ученым. Во всяком случае это имя дает некоторую возможность создать нам образ – это путеводная нить, нужная для того, чтобы представить судьбу человека.

Коля Чебоксаров. Его родители русские интеллигенты, кажется, купеческого происхождения из Поволжья. Дядя Николая Николаевича, Михаил Николаевич Чебоксаров, был в начале века известным врачом в Казани. Отец получил образование в Швейцарии. Евгения Николаевна после брака жила с мужем там. Великолепно знала французский, которому учила меня. Детство и раннюю юность она провела в Ялте. А.П. Чехов знал ее и просил несколько раз выполнить какие-то небольшие просьбы. Был еще старший брат Борис, ставший инженером. Коля Чебоксаров был окружен семейной нежностью и вниманием старших.

Как-то я выразил Евгении Николаевне свое отношение к великолепной речи Николая Николаевича, устной и письменной. Я назвал тогда его дар «речевым артистизмом», имея в виду, что дар этот всем бросался в глаза и был неожиданным в сравнении с сутулой и тучной, «невидной» внешностью. Евгения Николаевна мне ответила, что в развитии этого таланта Николая Николаевича большую роль сыграли детские спектакли, в которых он участвовал. Такие домашние театры, действительно, были очень модны в начале века. Вспомним юношеское увлечение ими Александра Блока. Конечно, талант Николая Николаевича как лектора и рассказчика был, прежде всего, его природным даром, был обусловлен его эмоциональностью и отличной памятью. Однажды в конце 1970-х гг. он и Борис Николаевич повторили почти весь текст стихотворной пьесы, которую они играли в 1924 г. во Владивостоке, где тогда жила семья.

Тесно контактируя с Николаем Николаевичем в 1960–1970-е гг., я замечал удивительное единение в его мышлении двух подходов: экспериментально-опытного и теоретического. Первый характерен тем, что он идет от образа к слову. Всем хорошо известен оратор и лектор Чебоксаров, который шаркающей походкой, сосредоточенно наклонив голову, подходил к трибуне – и преображался. Его огромная эрудиция, переработанная в научные образы, выплескивалась в изумительной речи, обращенной к слушателям. Такого Чебоксарова хорошо представил в своей публикации о нем Владимир Владимирович Пименов, осветивший его деятельность на кафедре этнографии в 1950-е гг.¹ Менее был виден в работе Чебоксаров-теоретик. Слово здесь уже служило посылом к теоретической деятельности, к образу-понятию, переходило в понятие. Вот, например, есть на Шри Ланке народ *ведды*, отличающийся от окружающего населения антропологическими чертами: более темноокрашенной кожей

и т.п., что в целом указывает на распределение признаков, тяготеющих к южной, «австралоидной» расе. Николай Николаевич этот тип назвал «веддоидным». Как этнограф он часто в распределении черт видел «славянские», «финно-угорские» или «индонезийские» черты. Слово-этноним направляло его мышление.

Памятью, действительно, Николай Николаевич обладал изумительной. Приведу хотя бы такой пример. Однажды в шутовском соревновании он более полно назвал список римских императоров, чем специалист-античник.

Есть еще один путь из прошлого, по которому дошло до меня имя Коля Чебоксаров. В 1926 г. он поступил на биофак Московского университета. Специализировался по антропологии и народоведению. На последнем курсе биофак превратили в агробиофак и стали готовить агрономов. А народоведение перевели на специально созданный этнологический факультет. Сергей Павлович Толстов перешел туда. А Николай Николаевич все же окончил агробиофак, получив диплом со специальностью «расовед». Еще до окончания университета он стал работать в Музее народоведения под началом антрополога Марка Соломоновича Плисецкого, дяди знаменитой балерины. Там Николай Николаевич готовил, в частности, экспозицию по расам и по формам развития хозяйства у народов мира. В 1928 г., еще будучи студентом, он провел экспедицию по исследованию жилища Волоколамского уезда бывшей Московской губернии. В экспедиции участвовали его брат Борис и антрополог Антипина, уехавшая потом во Фрунзе. В следующие годы были экспедиции в другие уезды Московской губернии, с более расширенным и исключительно женским составом. Оттуда-то и долетело это имя – Коля Чебоксаров, произнесенное мне устами Гали Семеновны Масловой.

Может быть, позволительно будет сказать здесь несколько слов об отношении Николая Николаевича к двум самым близким для него женщинам, ибо я твердо уверился, наблюдая крупных ученых, в том, что в жизни любого из них женщина играет очень большую роль. К Николаю Николаевичу это относилось в особой мере. Евгения Николаевна как личность со своим особым тактом и мудростью, несомненно, направляла путь Николая Николаевича в его молодые годы. В его характере была одна слабость – нерешительность, перерастающая порой чуть ли не в испуг перед возникшими обстоятельствами. Так, Евгения Николаевна рассказывала, что в 1937 г., когда был арестован старший сын Борис (муж тоже был репрессирован, будучи сотрудником Яна Гумарника, и погиб в заключении), то при любом стуке в дверь Николай Николаевич испытывал состояние потрясения. Евгении Николаевне мы обязаны тем, что она сохранила в Николае Николаевиче после всего пережитого интерес к жизни и к любимому делу. Но вот в его судьбе появилась Ирина Абрамовна. Они познакомились 16 октября 1941 г., когда тысячи москвичей эвакуировались из Москвы. Выезжали учреждениями. Николай Николаевич ехал в Загорск с Максимом Григорьевичем Левиным. Думаю, что судьба и послала Николаю Николаевичу в этот трудный момент необходимую ему подругу. У Ирины Абрамовны был очень сильный, даже крутой характер. Этим она всегда компенсировала нерешительность Николая Николаевича. На защите докторской диссертации в 1948 г. Николай Николаевич вдруг отказался идти на трибуну. Его за руку отвела Ирина Абрамовна. От нее доставалось иногда нам, сотрудникам сектора зарубежной Азии. Сейчас, по прошествии времени, стало виднее, как они были друг другу необходимы. Когда я, как оказалось, в последний раз перед его смертью повидал Николая Николаевича в больнице и уже пошел было к двери, Николай Николаевич вдруг сказал: «Знаете, я очень люблю Иру».

Должно быть, особое отношение к женщинам вообще было присуще Чебоксаровым. В этом Борис Николаевич был совершенный романтик. На одной встрече за столом он произнес такие слова: «Россия держится на женщинах». В них, конечно, содержится истина.

Считаю нужным сказать здесь несколько слов о религии в жизни Николая Николаевича. Посещать церкви или католические храмы в Прибалтике он отказывался, хотя

это его интересовало: «скажут, что антрополог Чебоксаров ходит в церковь». Вообще же по поводу религии Николай Николаевич высказывался мало. Однажды я увидел большое объявление о том, что в Политехническом музее будут выступать ученые с изложением своих взглядов на религию. Там стояло и имя Николая Николаевича. Он на это собрание не явился, а на мой вопрос «почему?», ясно не ответил. В последние годы жизни Николай Николаевич часто оказывался в больнице (то перелом кости, то заболевание глаз и печени). В одно из посещений его в больнице я увидел, что он читает Библию, взятую у соседа по палате. Это был повод поговорить о религии. Оказалось, что Николай Николаевич знает наизусть «Отче наш», «Символ веры», «Десять заповедей». Бытовые русские суеверия, вроде запрета здороваться через порог и т.д., он хорошо знал и соблюдал требуемые правила. Многие факты позволяют мне сказать, что Николай Николаевич был религиозен и суеверен.

Но у него не было желаний профессионально заниматься проблемами трансцендентного и мифологического. Однажды я рассказал ему о пространственном распределении соляных и лунных культов и это было ему интересно как систематику, но он явно не проявил охоты творчески работать с подобным материалом.

Как-то в Новосибирске в 1960-е гг. на конференции по этногенезу народов Сибири Валерий Николаевич Чернецов обратился к Алексею Павловичу Окладникову, академику, назвав его – неожиданно и по-мальчишески – Алешка. Я сразу это связал с воспоминанием, как по-мальчишески был любознателен Алексей Павлович, когда пригласил меня с собой посмотреть на Москву с только что открытой для посетителей Останкинской телебашни. И с тем, что он мог в экспедиции писать статью, лежа под грузовиком, скрываясь от палящего солнца, и не замечать, что капли смазочного масла попадают ему на спину. Я думаю, что мальчишество лежит в основе интереса к познанию у русских ученых, что было ярко выражено у Ивана Петровича Павлова и Николая Ивановича Вавилова.

Об этой черте Вавилова говорил мне в 1976 г. Андре Одрикур, крупнейший французский историк агрокультуры и лингвист, бывший в начале 1930-х гг. аспирантом Вавилова. С Одрикуром мы ботанизировали на пустырях Хабаровска во время Тихоокеанского конгресса. У самого Одрикура мальчишество было в его глазах. Вспоминаю глаза больших ученых, которыми они мальчишески – пылливо, настырно, с недоверчивостью и восторженно смотрели на мир. Не могу не упомянуть здесь Якова Яковлевича Рогинского, «еврея, так сказать, из евреев». Он сам рассказывал Чебоксарову, что в эвакуации, когда ему выписывали паспорт, спросили о национальности (возобновлял он, что ли, паспорт после потери, не помню). Он ответил так: «иудей». Паспортистка записала «индей». Яков Яковлевич поправил ее: «Да не индей, а иудей». В важный документ не положено было вносить исправления и паспортистка к слову «индей» добавила «иудейский». Так вот глаза Якова Яковлевича светились каким-то добрым ожиданием чуда от науки, жизни, человека. Когда вышла в «Науке и жизни» его статья о связи конституции тела человека с его характером, я прочитал ее раньше, чем увидел статью он сам. Когда я ему сообщил о статье, он по-мальчишески в свои 73 года обрадовался: «Вышла? Неужели!».

О мальчишестве столько всего написано! В нем есть и гордость, которую Чарлз Сноу отмечает в характерах ученых, анализируемых им в романе «Дело». Но и зависть черной змеей лежит в темных уголках души. «Когда я работал в Музее народоведения, – вспоминал Николай Николаевич, – то приходилось много сушить, проветривать вещи, вести их учет. А рядом Дебец занимался наукой». Честолюбия у Николая Николаевича было несомненно меньше, чем у его друзей, товарищей. О своей должности заведующего сектором он говорил, что в Академии она не такая уж большая. Представив Ирину Абрамовну академику Борису Александровичу Рыбакову сказал: «Ну, вот, Ира, ты и с академиком познакомилась». Уж не сравнить это с реакцией С.П. Толстова, которого, когда его избрали членом-корреспондентом, а не академиком, поздравила одна сотрудница института, он с возмущением ответил: «Вы что, надо мной издеваетесь?!».

В становлении мышления Николая Николаевича важную роль сыграла его работа в традициях московской (Анучинской) этнографической школы. Здесь хотелось бы рассказать о некоторых встречах с ее основателями, к числу которых принадлежал Виктор Валерианович Бунак. Мои контакты с ним были связаны с тем, что я занимался историей этой школы. Она возникла вокруг идей Дмитрия Николаевича Анучина, выдающегося географа и этнографа. В своем творчестве он плодотворно пользовался комплексным типологическим методом для реконструкции истории народов. Знаменитая анучинская триада – это творческое слияние данных этнографии, лингвистики и археологии. Научным шедевром в славяноведении остается до сих пор статья Анучина «Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда». Анучин активно участвовал в организации экспозиции российского этнографического материала на первой Всемирной выставке в Париже (1876 г.). Коллекции, оставшиеся после выставки, послужили основой экспозиции будущего Музея народоведения. В самом конце жизни Анучину удалось в МГУ организовать кафедру антропологии. В традициях анучинской школы работали учителя и старшие товарищи Николая Николаевича. Здесь надо назвать имя Бориса Алексеевича Куфтина, которым Николай Николаевич всегда восхищался. Действительно, по эрудиции, по стилю мышления оба были близки друг другу. Изгнанный из Музея народоведения, кажется, в 1933 г., Куфтин отправился в Тбилиси, где в ту пору в научных учреждениях Грузии приютили многих российских ученых, спасавшихся от погромов в науке. Куфтин раскопал знаменитые Триалетские курганы. И в 1953 г. первым среди историков получил Сталинскую премию (благодаря содействию Игоря Эммануиловича Грабаря). Николаю Николаевичу особенно дороги были две работы Куфтина: «Мещера» и «Жилище крымских татар». Из археологов Николай Николаевич всегда отмечал влияние на себя Отто Николаевича Бадера, который был в его студенческие годы аспирантом.

Среди народоведов того времени в Москве особым авторитетом пользовался Владимир Владимирович Богданов. У него было относительно мало публикаций. Но одна оставила глубокий след в нашей науке. Она была посвящена изучению коллекции одежды из Румянцевского музея. Нужно сказать, что сначала это было просто недокументированное собрание вещей. Вот в них и смог разобраться, атрибутировать и проклассифицировать типы одежды Богданов. Он имел очень широкий кругозор в этнографии, был редактором журнала «Этнографическое обозрение». Для молодого поколения этнографов 1920-х годов он был учителем и духовным наставником (Г.С. Масловой, Н.Н. Лебедевой и других). По своим взглядам Богданов был типичный «анучинец».

И вот в 1976 г. я, беседа с Бунаком об Анучинской школе, упомянул Богданова. Оказалось, что почему-то личность Богданова была для Бунака неприемлемой. А дело-то ведь касалось истории кафедры этнографии (1923 г.), когда судьба столкнула Бунака и Богданова. Свежесть эмоций Бунака была поразительна.

Г.Ф. Дебеч говорил в начале 1960-х годов нам, молодым сотрудникам Института этнографии, что «в основе научного творчества лежит впечатление». Острота восприятия характерна для «мальчишеских» научных установок. Поэтому впечатление должно быть включено в понятие факта в парадигме анучинской школы, к которой принадлежали Дебеч и Чебоксаров.

Проведя множество бесед с Николаем Николаевичем, я отметил, что его мышление обладало неугасимой тягой ко всему новому, необычному. Это становилось эмоционально окрашенным фактом. И не имело значения, откуда поступала основа факта-впечатления: из газеты, чьего-то устного сообщения, был ли это его собственный рисунок жилища народа *мяо*, сделанный в Южном Китае, или стройная концепция. Помню, с каким интересом он слушал мой рассказ о жилищах шотландцев, которые на безлесных песчаных пустошах строили дома из стекла. Внимание Николая Николаевича, кажется, достигло тогда предела и весь он вникал в мою информацию, полученную из какой-то статьи, рассказывавшую, как в опалубку, сделанную из

хвороста, насыпали песок, заваливали горючим материалом и поджигали, получая в конце концов пористую стеклообразную массу стены будущего дома. Такая жадность к неизвестному сродни пафосу первооткрывателя новых земель. Она двигала капитанами Васко де Гама и Колумбом, купцом Афанасием Никитиным. Она была свойственна всем первым европейским естествоиспытателям.

Можно теперь понять одну несколько парадоксальную вещь. Вспомним небольшую, но грузную фигуру Николая Николаевича. И увидим его во главе застолья по какому-нибудь праздничному поводу. Человек совсем не авантюрный. Нет, вовсе не борец за истину, безмерно почитавший начальство. Окружен благополучием и неким научно-академическим истеблишментом. И вдруг он предлагает спеть «Бригантину». Там: «капитан, обветренный как скалы» и «пьем за яростных, за непокорных, за презревших грошовой уют». Что это? Как это связано с отношением Николая Николаевича к науке и жизни?

Не сразу, но в конце концов я понял, что эта квартира, вся в экзотических вещах, привезенных после двухлетней работы в Китае, та самая «Индия» или «острова пряностей», к которым стремился пылкий ум первых европейских естествоиспытателей. Не та же ли погоня за фактом-впечатлением гнала Пушкина в Эрзерум, привела Гончарова на борт фрегата «Паллада», Толстого позвала в Чечню, Чехова – на Сахалин, Бунина – на Цейлон, Гумилева – в Африку...? Все тот же факт-впечатление, сродни картине Дюрера «Носорог», где изображено животное реальным и в то же время апокалиптическим, равным почти всей вселенной, но главное – еще неизведанным. Таким был факт для Николая Николаевича. Мне кажется, что аналогичное отношение к факту было и у Сергея Павловича Толстова. И недаром Толстов из всех поэтов больше других любил Николая Гумилева с его «Трамваем» и миром дальних странствий. «Древний Хорезм» Толстова сродни «Носорогу» Дюрера – там, нечто от нас далекое, доведено до всемирности, до чуда и через интерес к этому чуду сделано своим, освоено. Обособленная цивилизация введена в наше культурное ощущение.

Мышлению фактом-впечатлением свойствен научный экспансионизм, постоянное расширение горизонта фактов. Этот экспансионизм был представлен в русской науке прошлого века. Он зарождался на практической почве освоения богатств огромной страны, ее ресурсов, в этнографии – огромного разнообразия народов, культур, рас, вероисповеданий. В теоретическом плане импульс экспансионистской устремленности давало известное отставание от западной науки. Получив такое ускорение, теоретическая мысль в России прорывалась за пределы западного уровня в направлении построения глобальных концепций. Так было у Л.И. Мечникова, Д.И. Менделеева, И.П. Павлова, В.И. Вернадского и других. Характерно, что установление советской власти способствовало такому глобализму. Здесь надо сослаться на творчество В.И. Вернадского, И.П. Павлова, Л.С. Берга, Н.И. Вавилова.

Нечто аналогичное происходило в этнографической науке. Показателен такой факт. А.Н. Максимов, великий эрудит и создатель концепции народов – «собирателей урожая», говорил в 1930-е гг. Сергею Александровичу Токареву, что полевая этнографическая работа может мешать теоретическим осмыслениям, ибо заставляет смотреть на всеобщий материал сквозь призму культуры одного народа. Для ученых поколения Николая Николаевича эмоциональные факты-впечатления требовали теоретической «корзины», куда бы они помещались. Такой упаковкой фактов стали теории классиков русской этнографии, творчество которых пришлось на советские годы. Не случайно, что корифеи нашей науки оказались почти одногодками по рождению: С.П. Толстов – 1907, М.Г. Левин – 1904, Н.Н. Чебоксаров – 1907. За этим как бы внешним совпадением лежат особые закономерности формирования научного сообщества, о чем я скажу ниже.

Подытоживая сейчас заметки о мышлении Николая Николаевича и вообще о его незаурядном даровании, вспоминаю хорошую повесть Сергея Антонова об Иване Бунине, где показано понимание Буниным таланта как «памяти предков», как

богатства следов, отпечатков – наследственных и приобретенных. В этом был секрет потрясающей художественной памяти Бунина и, не побоюсь сказать, памяти Чебоксарова. В одной статье в «Литературной газете» (22.07.1970) генетик академик Дубинин отметил, что у талантливых людей всегда развит вымысел. Это в полной мере относится к Николаю Николаевичу. В вымысле не нужно видеть ложного представления. Это представление о возможном, о случающемся, о единичном, которое может стать общим. Короче, вымысел – это готовность к восприятию виртуальной реальности. Таким же мышлением, кстати, обладает Сергей Александрович Арутюнов. Вот пример. В 1960–1970 гг. все, кто был рядом с Николаем Николаевичем, «болели» хозяйственно-культурными типами. Многие адепты теории уперлись в географически-средовую предопределенность этих типов. Арутюнов же заметил, что отказ от питания молоком во многих районах Юго-Восточной Азии был связан с распространением буддизма.

И еще одна существенная структурная черта мышления Николая Николаевича – очень четкое понимание своего предназначения, того, что Павлов называл у людей «рефлексом цели». Подобная целеустремленность свойственна маргинальным по происхождению людям. Кажется, ощущение свершения своей судьбы и преодоления маргинальности было свойственно и Николаю Николаевичу. По крайней мере это чувствовалось в словах, которыми он закончил однажды рассказ о своем появлении на работе в Институте этнографии. Как известно, Институт был образован в 1942 г. во главе с Толстовым. Многие специалисты тогда находились в эвакуации. Николай Николаевич преподавал в университете в Свердловске. Туда пришла правительственная телеграмма с предложением ему вернуться в Москву и приступить к работе в Институте этнографии. «Так я получил работу в Академии наук, которая, конечно, на дороге не валяется», – сказал Николай Николаевич. Арнольд Тойнби, отметивший, что крупные творческие личности появляются на краю цивилизации, ссылался на Эльзас и Лотарингию, на Польшу. Причину Тойнби видел в отсутствии в обществе равновесия сил. В еще большей мере это относится к России, общество которой постоянно находится в историческом дисбалансе, в непрерывном поиске образа самого себя. Эту тему о генезисе талантливости в России и по сию пору в 1995 г. мы затрагивали в беседе с Игорем Ильичем Крупником в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Наши точки зрения во многом сходились. Когда мы с Крупником встретились в Смитсоновском институте у чучела огромного африканского слона, как я пожалел, что Николай Николаевич не увидел всех этих грандиозных экспозиций «форм хозяйства и рас», которыми он занимался в юности в московском Музее народоведения!

Теперь обратимся к тому ментальному полю, в котором проявилось мышление Николая Николаевича как одного из создателей концепции хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей. Переходя к этой не совсем простой теме нужно уточнить, что ментальное поле – слишком академическое выражение для того всплеска озарений, борьбы характеров, фантазий, идей, которые скорее напоминали штормовое море, имеющее к тому же разонаправленные подводные течения. Хозяйственно-культурные типы определялись Максимом Григорьевичем Левиным и Николаем Николаевичем в классической статье в «Советской этнографии»², как исторически сложившиеся комплексы хозяйства и культуры, возникшие в сходной географической среде при сходном уровне развития общественного строя.

Хозяйственно-культурные типы (ХКТ) и историко-этнографические области (ИЭО) Николай Николаевич именовал «этнографическим районированием культуры». В этом «районировании» было что-то от селекционной агрономии, которая в силу старения за пять–семь лет злаковых сортов занимается внедрением новых. Аналогичен ли этому процесс распространения по эйкумене элементов культуры? Конечно, с учетом того, что явления культуры никто не рассыпает рукой из мешка или с вертолета, они адаптируются усилиями местного населения, но в силу воздействия природной среды независимо образуют ХКТ. А историко-региональные факторы сплавивают само

население в локальные этнографические области, подобные, скажем, экономгеографической Центрально-промышленной области, бывшей большой административной единицей с центром в Москве в 1920-е гг. Такой реконструируемый ход мыслей Николая Николаевича – только гипотеза, учитывающая тип его мышления, научную подготовку и общее состояние науки и страны в 1920–1930-е гг. Что говорил сам Николай Николаевич по поводу предыстории идей и главным образом концепции ХКТ?

Он утверждал, что первая формулировка концепции была дана в статье С.П. Толстова «Очерки первоначального ислама» (1932 г.)³. По мнению Николая Николаевича, концепция возникла как антитеза немецкой теории культурных кругов, развивавшейся в первые десятилетия XX в. в трудах Лео Фробениуса, Вильгельма Шмидта, Фрица Гребнера и Вильгельма Копперса. Шмидт и Копперс были католическими священниками, что играло определяющую и, прямо скажем, раздражающую роль для молодых советских ученых. Действительно, в упомянутой статье Толстова дана историческая характеристика хозяйственно-культурных комплексов (хотя термин «тип» там еще не применен). Сам Толстов в последующие годы с большой осторожностью смотрел на «этнографическое районирование». В его работах фраза, относящаяся к такому районированию, начинается так: «Мы признаем...»⁴. По смыслу фразы первенство отдается скорее западным идеологическим противникам, зато во всех статьях подчеркивается важное значение социально-экономических укладов (учение о которых развивалось В.И. Лениным). Надо сказать, что и в последующие годы ряд советских ученых, как например, Павел Иванович Кушнер и Марк Осипович Косвен, отрицали (в своих устных выступлениях) концепцию ХКТ, ссылаясь на недостаточность «учения о социально-экономических укладах». Это дает представление о том, какова была ответственность и осторожность тех, кто занимался теорией хозяйственно-культурных типов: она претендовала на соперничество или по крайней мере равное место с некоторыми догматами ленинизма. Но вернемся все-таки к чистой науке. Само представление о локальных хозяйственно-культурных комплексах без шума развивалось в Сосединных Штатах на материалах культур аборигенных народов. Здесь уже к 1920-м гг. была нарисована полноценная картина «этнографического районирования» среди индейских культур трудами Кларка Уислера. Она была дополнена его последователями, особенно Альфредом Крёбером⁵.

Мне кажется, что эти труды были лучше известны Максиму Григорьевичу Левину, который больше, чем Николай Николаевич, интересовался американстикой вообще и «диффузией культуры» в частности. У него на этот счет была особая статья⁶. Что касается Левина, то несомненно ему принадлежит честь первому описать хозяйственно-культурные типы (названы комплексами) у народов Сибири еще в 1929 г. Это отражено в публикации по материалам поездки М.Г. Левина вместе с В.В. Бунаком в Туву в 1928 г. Консультируясь у последнего в 1969 г., я узнал, что Бунак именовал эти комплексы «природно-бытовыми» и что весь этнографический материал экспедиции он отдал для обработки Левину.

Как бы то ни было, статья Левина поразила меня не только развитой типологией комплексов, но и глубоко динамичным их пониманием. Этот же момент, мне близкий, присутствовал во всех более поздних публикациях этого автора. Я написал в 1969 г. статью, посвященную М.Г. Левину, где подчеркивал роль не только природной адаптации, но и разделения труда, которое вело к образованию динамичных хозяйственно-культурных типов. Эта идея о взаимной дополнительности (комплиментарности) ХКТ очень не понравилась Николаю Николаевичу. Когда я прочитал ему вслух рукопись статьи, он долго молчал, потом сказал: «Ну что ж, печатайте». Моя статья вышла в 1970 г.⁷ Позднее в его совместной статье с Борисом Васильевичем Андриановым появилось примечание в том духе, что идеи, развиваемые мной, ошибочны⁸. После публикации статьи 1970 г. наши отношения с Николаем Николаевичем стали очень сложными.

Но вернемся к сути дела. Николай Николаевич однажды показал мне уникальный документ. Это был рукописный текст будущей статьи Левина и Чебоксарова

1955 года. Текст был написан Левиным, переделан и отредактирован рукой Николая Николаевича. Три важных момента были привнесены Николаем Николаевичем: 1) там, где это было нужно по смыслу, термин «культура» (в смысле локальная культура) был заменен на «тип» или прямо на «хозяйственно-культурный тип», 2) историко-этнографические области были четко отдифференцированы от ХКТ, 3) всему построению придан более системный вид.

Наш вывод состоит из двух положений. Первое заключается в том, что сама идея ХКТ задолго до 1955 г. витала в воздухе, она присутствовала в трудах западных ученых и к ней подходили российские ученые: Б.А. Куфтин, В.В. Бунак, М.Г. Левин, С.П. Толстов, А.М. Золотарев, Е.М. Шиллинг, С.А. Токарев, Б.О. Долгих. Примечательно, что пока теоретики нашей этнографии направляли усилия на то, чтобы провести корабль ХКТ мимо скал социально-экономических укладов, такой практик этнографии, великолепный знаток культур Севера как Борис Осипович Долгих уже в 1952 г. ввел понятие и термин ХКТ в статье, посвященной происхождению нганасан.

Второе положение: теория ХКТ обязана Н.Н. Чебоксарову своим развитием в сторону научной таксономии. Каждый ХКТ стал рассматриваться как группировка на основе идеализирующей абстракции, т.е. к хозяйственно-культурному комплексу была приложена таксономическая модель, издавна развивавшаяся в биологии. Таксон в биологии занимает единственное место в системе и не пересекается с другими таксонами. Поэтому Н.Н. Чебоксаров всегда стремился четко различать ХКТ от других таксономических категорий и прежде всего от ИЭО.

Сибирский этнографический материал был базовым для создания теории ХКТ. Поэтому отношение специалистов-сибиреведов к ХКТ чрезвычайно важно. Записи моих бесед по этому вопросу с Валерием Николаевичем Чернецовым исключительно интересны тем более, что этот крупнейший ученый очень мало писал и публиковал. То, что он говорил мне, им нигде не было опубликовано. Валерий Николаевич подчеркивал, что древние формы хозяйства в Сибири, да и позднейшие (т.е. сохранившиеся до прихода русских), были комплексными. Только то, что функционально определено экологической средой, можно вынести за скобки и назвать ХКТ. В то же время товарные связи всех народов Сибири насчитывают тысячелетия. Так, китойская культура первых веков новой эры на севере Сибири сложилась под воздействием торговли (особенно нефритом) с Китаем. В целом Валерий Николаевич был склонен говорить о сибирском ХКТ, который экономически был пластичен в зависимости от колебаний границ леса и степи (размах достигал 300 км) и торговых связей. Как видим, здесь нет строгого таксономического подхода: «сибирский ХКТ» размыт в таксономическом смысле, но конкретен в смысле историко-культурном.

Концепции сибирского ХКТ оказалась близка идея Сергея Александровича Токарева об океанийском ХКТ, также базирующемся на комплексной форме хозяйства. В конце 1960-х гг. Алексей Павлович Окладников развил свою теорию ХКТ, ограниченных регионом Сибири. Он показал также этническую специфику ХКТ. Сергей Александрович Арутюнов устно мне также высказывал мнение, что для Японии свойственно слияние черт ХКТ с ИЭО. С идеей дробления всемирно представленных ХКТ выступил Севьян Израилевич Вайнштейн⁹. Одну из своих статей мне пришлось специально посвятить проблеме динамического соотношения ХКТ с этническими общностями.

Николай Николаевич называл все эти тенденции «размыванием концепции ХКТ». Пожалуй, публикация Валерия Павловича Алексева об антропобиогеоценозах была последним выражением кризиса теории ХКТ и в то же время дальнейшим развитием самой идеи. Справедливости ради надо сказать, что прямо о биоценозах, в которых традиционно находились народы Сибири, говорил мне в конце 1960-х гг. В.Н. Чернецов.

Все отмеченные тенденции подчеркивали большую роль собственно культурного фактора среди черт комплекса, нежели адаптационно-хозяйственного. В этом плане показательны работы С.И. Вайнштейна, где демонстрируется, например, смена

орнамента у степных групп Сибири, попавших в силу судеб в зону тайги. В этих новых подходах ХКТ терял свойства способа «этнографического районирования», приобретая другие, не менее важные. Одна из черт нового понимания ХКТ состоит в его увязке с этническими процессами. И в этом плане ХКТ или их набор свидетельствуют о компонентах этноса, или о начальной и финальной стадии этногенеза. Иначе говоря, ХКТ – не стихийно формирующийся комплекс, а определенная, избранная форма поведения, ценностно воспринимаемая. Для истории ХКТ оказываются важны такие явления как регресс к ранним ХКТ (вроде аристократической охоты у феодальных верхов в Европе и в Азии), заимствование хозяйственных отраслей и создание новых бытовых комплексов (пример – переход к коневодству у многих аборигенных племен Америки и образование «скифоподобного быта»), специализированные этнические группы (*цыгане* в Европе, народ железоделателей *куи* при комбоджийском монархе, буйволоводы *тода* в Индии), религиозное отшельничество с особым, ценностно ориентированным быгом (*калики* на Руси, *буддийские монахи* в Азии).

По моему мнению, во всех подобных примерах первостепенную роль играет разделение труда, способствующее стабилизации хозяйственно-культурных комплексов и наделение их ценностным для носителей содержанием. Это может придавать такому комплексу свойства культурного дрефта.

Часть из этих соображений Николай Николаевич воспринимал. Например, он сам стал говорить о наличии в Японии двух ХКТ: северного и южного, в которых были выражены разные генетические потоки. Это отнесло в сторону классификацию японцев как представителей ХКТ пашенных земледельцев субтропиков и тропиков. Но гораздо терпимее Николай Николаевич относился к выявлению нового ХКТ, нового подразделения какой-нибудь ИЭО. Это проявилось, когда я вместе с Львом Алексеевичем Фадеевым, имевшим хорошую руку художника, подготовил «Мировую карту ХКТ» для книги Николая Николаевича и Ирины Абрамовны «Расы, народы, культуры». Эту книгу Николай Николаевич написал удивительно быстро, на одном дыхании, практически за отпуск, проведенный в академическом санатории «Узкое».

Теперь мне бы хотелось снова вернуться к характеру мышления Николая Николаевича, но не как к черте индивидуального таланта, а как к стороне мировоззрения с общими ментальными особенностями, присущими сообществу московских этнографов старшего поколения.

Я полагаю, что мировоззрение тех, кто вступил в науку в России в 1920-е гг., находилось под огромным влиянием дарвинизма. Показателем здесь пример А.Ф. Преображенского, который смог убедить А.В. Луначарского создать в 1929 г. этнологический факультет в МГУ. Он никогда марксистом не был. Но он мог великолепно манипулировать научными данными, четко показал в своей книге 1929 г. связь идей корреляций с эволюционизмом (она дала, в частности, питательную силу концепции хозяйственно-культурных комплексов, ставшей затем учением о соответствующих типах).

У самого Николая Николаевича всю жизнь дома на стене рядом с письменным столом висел портрет Ч. Дарвина и портрет своего непосредственного учителя А.А. Ярхо, антрополога-дарвиниста. Несомненно, что дарвинизм давал возможность адаптироваться к марксизму, усиленно внедрявшемуся в науку. Дарвинизм совпадал с марксизмом в теории общего поступательного развития.

Дарвиновская теория привлекала своей простотой, приложимой к очень сложному процессу. В то же время Дарвиновский метод требовал скрупулезной точности наблюдения, что обеспечивало само по себе требование научности. Так, Ярхо учил Николая Николаевича в статьях излагать сначала конкретные данные и только затем демонстрировать теорию в виде выводов. Может быть, на прочность позиций дарвинизма в России влияла сама личность Дарвина, воздействие которой все еще было велико, и научная тактика Дарвина. Ее характеризуют, например, письма Дарвина своему ученику Скотту: «...На первое время я предложил бы Вам поставить дело вот так: старайтесь очень скупно вводить в Ваши работы теорию (я прежде сам

часто этим грешил, занимаясь геологией); руководствуйтесь теорией в Ваших наблюдениях, но пока не приобретете прочной репутации в науке, поменьше уделяйте места теории в печатных трудах. Иначе Вы подрываете доверие в людях к Вашим наблюдениям»¹¹.

Как видим, перед нами уловка Дарвина, вынужденного отстаивать теорию происхождения видов в условиях абсолютного господства теологических взглядов на происхождение жизни и человека. Теория эта на самом деле управляла всеми усилиями ученого. Поэтому меня очень поразили слова Валерия Павловича Алексеева, попросившего найти ему одну публикацию об антропологических находках в Индонезии: «Мне нужны измерения, а не сопли вокруг этого факта». Сам Валерий Павлович, человек колоссальной эрудиции, двигался вперед всегда с помощью теории и гипотезы. Поэтому его слова отрицали не теорию, но были выражением состояния соперничества неких концепций. Дарвиновское отношение к факту свойственно было и этому оригинальному ученому. Здесь нужно обязательно различать отношение к факту и понимание факта. Последнее приобретает только при встраивании факта в какую-то систему фактов, которая выполняет роль концепции. Ботаника в истории науки не случайно занимала в разные периоды столь важное положение – она великолепно развила процедуру систематики. Сам Алексеев в книге «Этногенез» высоко оценил достижения Николая Николаевича в деле антропологической классификации. При всем этом не смогу не сослаться на мнение Г.Ф. Дебеца, который говорил, что польза всех классификаций в их познавательном интересе и что их надо отбрасывать, когда они больше не служат. Как похоже это на слова Будды о том, что переплыв на плоту реку, не нужно нести его на спине дальше.

В связи с Валерием Павловичем Алексеевым надо сказать, что его новаторские идеи не нравились Николаю Николаевичу. И тем не менее, я вижу нечто близкое в мышлении этих двух выдающихся людей разного возраста, придерживавшихся разных взглядов. Помимо беззаветной любви к науке их объединяет общий стиль и уровень мышления. Они оба были по духу членами одного научного сообщества. У них были разные темпераменты. Николай Николаевич всегда был склонен уйти за защитную броню примирения с неизбежностью; Валерий Павлович обладал силой отстаивать свои убеждения и тем самым завоевывал доверие людей, что позволило ему возглавить важный фронт науки, представленный Институтом археологии.

После 1966 г. Институтом этнографии стал руководить Юлиан Владимирович Бромлей. Вскоре появилась совместная статья Алексеева и Бромлея о брачной эндогамии как структурном факторе этноса. После этого Ю.В. Бромлей стал готовить свою первую монографию об этносе. Ему казалось, что этнос, а не народная культура составляет предмет науки этнографии. Николай Николаевич всегда придерживался противоположной точки зрения, которую разделял и В.П. Алексеев. Указания на это можно найти в книге последнего, посвященной проблемам этногенеза. Ю.В. Бромлей со свойственной ему энергией и возможностями продолжал строить теорию этноса, которая в его представлении должна была стать и содержанием, и рамками этнографии как науки. Изучение культуры Ю.В. Бромлей считал вообще не делом этнографов. Одно время он даже хотел передать изучение народной культуры в особый институт. Николай Николаевич все это очень переживал. Как-то он мне признался: «Перед смертью я выступлю и скажу, что мы должны заниматься историей культуры». Культуру он называл и основным этническим признаком.

Проблема этнических признаков серьезно занимала умы ученых-этнографов в 1960–1970-е гг. Я думаю, что это тоже наследие естествоиспытателей, дошедшее до нас через дарвинизм, скрытый в традициях Московской анучинской школы. В ней признаку был придан высокий формально-морфологический ранг. Но ведь признак – это проявление объекта, а не сущностное, не конституирующее. Если идти к конституции, к тому, что является предметом науки, то мы вынуждены будем выйти за пределы морфологии объекта. И тогда нам нужно будет искать то, что в работе по проблемам типологии я предложил называть признаками-условиями¹².

Для рассмотренной выше проблемы ХКТ таким признаком-условием следует считать общественное разделение труда. Вот другой пример. Он связан с излюбленной с юности темой Николая Николаевича – жилищем. Ему посвящена его первая упомянутая выше печатная работа о жилищах Волоколамского уезда. Она и сейчас обладает огромной научной ценностью, а для меня полна скрытого смысла – памятью о юном Коле Чебоксарове и его талантливом старшем брате Борисе, который сопровождал эту статью своими чертежами жилищ. В работе скрупулезно описаны формально-морфологические признаки крестьянских жилищ данного региона. В 1988 г. по прошествии 60 лет после экспедиции Чебоксаровых я изучал жилища нынешних Волоколамского, Лотошинского и Останковского районов, проследовав по маршруту Николая Николаевича. Прошедшая война не пощадила эти места. Постройки домохозяев, фамилии которых указаны в статье Николая Николаевича, сгорели. Но несколько дворов соседней сохранилось. Главная же моя удача в том, что я разыскал несколько стариков – местных плотников и печников. Они мне на конкретных постройках продемонстрировали рабочие приемы, поделились такими секретами, которые не улавливаются формально-морфологически. Некоторые моменты (вроде скошенной книзу и внутрь рамы окна, слегка наклоненной к двери поверхности пола для удобства мытья пола, начинавшегося от иконы и т.п.) просто не доступны сторонним наблюдателям. Выявилось очень строгое разделение операций стройки: конопатили дом не те, кто рубил его, соломенную крышу предоставляли делать «холам», у печника была не только особая профессия, но он был обязательно некой харизматической личностью, учитывавшей для устройства устья печи не только рост хозяйки, но и ее нрав и т.д.). Все то признаки-условия особой культуры жилища. Я бы смог попытаться описать культурную традицию этого региона, если предприму вторую поездку в 1998 г. по маршруту Николая Николаевича, проложенному 70 лет назад.

Николай Николаевич утверждал, что для полной смены традиции требуется 80 лет, смена жизни трех-четырёх поколений. Казалось бы, что наука менее всего традиционна, потому что открыта новому. Это так и не так. Конечно, новое в виде факта-впечатления всегда будет звать в науку души, обуреваемые жадой неизвестного. Таких, каким был Николай Николаевич. Но и традиция налицо. Это та ограничительная рамка, которая дисциплинирует порывы души и создает парадигму научного сообщества.

Примечания

¹ Пименов В.В. Кафедра этнографии МГУ в начале 1950-х годов – Н.Н. Чебоксаров // Этнографическое обозрение. 1994. № 4.

² Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (К постановке вопроса) // Сов. этнография (далее – СЭ). 1955. № 4.

³ Толстов С.П. Очерки первоначального ислама // СЭ. 1932. № 2.

⁴ Толстов С.П. Этнография и современность // СЭ. 1946. № 1; *его же*. Основные теоретические проблемы современной советской этнографии // СЭ. 1960. № 6; *его же*. Некоторые проблемы всемирной истории в свете данных современной исторической этнографии // Вопросы истории. 1961. № 11.

⁵ Чеснов Я.В. Теория «культурных областей» в американской этнографии // Концепции зарубежной этнографии. М., 1976.

⁶ Взгляды М.Г. Левина рассмотрены в статье: Алексеев В.П. Максим Григорьевич Левин (1904–1969) // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. М., 1968. Позиции диффузионистов подробно рассмотрены в работе: Александренков Э.Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии // Концепции зарубежной этнологии. М., 1976.

⁷ Чеснов Я.В. О социально-экономических и природных условиях возникновения хозяйственно-культурных типов (В связи с работами М.Г. Левина) // СЭ. 1970. № 6.

⁸ Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования // СЭ. 1972. № 2.

⁹ Вайнштейн С.И. Проблема происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии. М., 1973.

¹⁰ Алексеев В.П. Антропобиогеоценозы – сущность, типология, динамика // Природа. 1975. № 7.

¹¹ Ирвин И. Дарвин и Гексли. М., 1976. С. 196.

¹² Чеснов Я.В. О принципах типологии традиционно-бытовой культуры // Проблемы типологии в этнографии. М., 1979.

Ya.V. Chesnov. N.N. Chebocksarov in science and life

The classic of the Soviet ethnography N.N. Chebocksarov continued by his works the traditions of the famous Moscow school (Anuchin school). The author believes that the most important contribution of Chebocksarov to ethnography was his conception of the economic-and-cultural types.

© 1997 г., ЭО, № 3

Г.Е. Марков

НЕМЕЦКАЯ ЭТНОЛОГИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: ПОИСКИ НОВЫХ ПУТЕЙ. ФРИДРИХ РАТЦЕЛЬ

Полутораветковая история немецкоязычной этнологии¹ мало исследована в научной литературе, особенно эпоха после второй мировой войны². Больше всего внимания в историографии, пожалуй, уделялось этапу, охватывающему около двух десятилетий – от последней четверти XIX в. до начала первой мировой войны. Однако в посвященных ему публикациях обнаруживается много пробелов, неточностей и спорных суждений, вызванных научной или политической ориентацией того или иного автора и другими причинами. Помимо того, анализ некоторых работ историографического характера показывает, что они основаны не на исследовании первоисточников, а на сведениях, взятых из вторых рук, рецензиях и т.п. Это, кстати, уже отмечалось в литературе³.

Сказанное свидетельствует о необходимости вернуться к рассмотрению узловых проблем немецкоязычной этнологии в этот важнейший для нее период, ознаменовавшийся кардинальной сменой теоретических позиций большинства этнологов Германии, Австрии и немецкоязычной Швейцарии.

К концу XIX в. завершилось безраздельное господство в мировой науке эволюционистской «теории развития» и начались поиски новых путей в теории. Они вылились в возникновение ряда учений, получивших на рубеже веков и в первые десятилетия XX столетия широкое распространение не только в странах немецкого языка, но и далеко за их пределами.

Авторами этих учений выступили различные по научным взглядам исследователи, которые в противовес умозрительным однолинейным схемам истории развития человеческой культуры предлагали концепции, основанные, как они утверждали, на объективных этнографических данных. Такой подход нашел многих сторонников и определил победу новых учений над эволюционизмом.

Но, отрицая прямолинейные схемы развития и многие ошибочные методы эволюционизма, его гипертрофированный психологизм, сторонники новых течений отбрасывали и то позитивное, что содержало это учение, и в первую очередь идеи о прогрессивном развитии культуры и исторических закономерностях. А ряд действительно неверных методологических и методических установок эволюционизма, в том числе пресловутый «психологизм», на практике были ими заимствованы.

На долгие годы многие исследователи отбросили понятие «развитие» и его место

¹Продолжение. См.: Марков Г.Е. От истоков немецкой этнологии к ее расцвету // Этнограф. обозрение. 1996. № 5.